

Борис Георгиевич РЕИЗОВ

СИМВОЛИЧЕСКАЯ ШКОЛА. МИШЛЕ

Фрагмент из книги

« ФРАНЦУЗСКАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ (1815 – 1830) »

По изданию:

Л.: изд. ЛГУ. 1956. 536 с.

Веб-публикация: редакторы сайтов [Vive Liberta](#) и [Век Просвещения](#) ©

...Философия истории Кузена ярко выражает тенденции, господствовавшие во французской буржуазно-либеральной науке и литературе 1820-х годов. Закономерность и «необходимость» исторического процесса, история человечества, рассматриваемая как история сознания, национальное своеобразие народов, каждый из которых необходим человечеству и вносит свой вклад в общую сумму исторических и культурных ценностей, единство и противоречия эпохи, определяющие каждый ее «элемент» и пронизывающие все ее детали, исторические перспективы, объясняющие смысл каждой данной эпохи, теория великих людей, выражающих волю и интересы масс, - все эти идеи, подхваченные Кузеном в идейной атмосфере Реставрации, были выражены им в понятиях философии тождества, переработанных для французских обстоятельств. Восторженное признание, которое, несмотря на свою трудность, встретила философия Кузена в широких либеральных кругах, объясняется именно тем, что она удовлетворяла их общественным запросам и возвращала носившиеся в воздухе идеи в новом виде. Порочность метода и поразительная неубедительность доказательств были осознаны в кругах республиканской буржуазии значительно позднее и в другую эпоху.

Тем же объясняется и громадное влияние Кузена на современную ему историческую науку. Оно сказалось на исторических взглядах доктринеров - Тьерри, Баранта, Гизо, в большой мере определило философию истории Минье, Тьера. Наконец, прямыми учениками Кузена были два молодых историка, начинавшие свою литературную работу в последние годы Реставрации: Жюль Мишле и Эдгар Кине.

ГЛАВА IX

Творчество Мишле в большей своей части протекает за пределами интересующего нас периода. Только с первых томов французской истории» (1832) начинается период его научной деятельности», а вместе с тем меняется и его исторический метод, и политический характер его деятельности: июльская революция преследовавший за нею период со всеми особенностями его собственного развития сделали из него страстного политического борца и включили его в стихию мелкобуржуазного протеста, который определил пафос дальнейшего его творчества. Нас интересовали ранние работы Мишле - от «Очерка новой истории» (1824) до «Римской истории» (1831). Эти несколько лет напряженного труда представляют собой очерченный период в развитии Мишле, тесно связанный с методологической работой либеральных историков Реставрации.

(Биографические данные о Мишле см. у G. Monod. «La vie et la pensee de Jules Michelet. 1798-1852», 2 т., 1923. Особый интерес представляют автобиографические работы Мишле: «Mon Journal, 1820-1823» и «Ma jeunesse». Однако эти произведения были составлены по его записям вдовой Мишле и требуют проверки.)

<...> В семье Мишле Наполеона считали деспотом, и падение его было принято с радостью, как освобождение от тирании. Этим и объясняется роялизм юного Мишле, в котором его впоследствии упрекали. Однако роялизм этот быстро прошел, и Мишле, в период Реставрации относившийся к политике равнодушно, все же усваивает взгляды умеренного либерализма доктринерского толка. Вместе с тем рассеиваются его католические настроения, которые побудили его в 1816 г. добровольно принять крещение, и к середине 1820-х годов он увлекается философией Кузена. Доктрина и эклектизм - к таким результатам приходит Мишле к концу Реставрации. Его историографический метод предопределен его политической и философской позицией.

В десятилетнем возрасте Мишле прочел весьма благонамеренную книгу Дрё дю Радье: «Королевы и регентши Франции» и увлекся ею, а в следующем, 1809 г. посетил «Музей французских памятников» и был впервые охвачен «историческим чувством»: бродя по заду Меровингов, Мишле представлял себе Хильперика и Фредегунду на троне и долго думал о них по вечерам, набирая у кассы в типографии отца.

Конечно, образы, возникшие в юном воображении Мишле, нимало не походили на тех Меровингов, которых впоследствии создал Тьерри в своих «Рассказах». Это были любезные и галантные, одетые в условно средневековый костюм короли, придуманные историками эпохи классицизма, вроде тех принцев и принцесс, которые фигурировали в «Сказках фей». Но вскоре угасли и эти воспоминания, впоследствии возникшие вновь с такой силой и так неожиданно.

Во время Империи в лице Карла Великого истории не преподавали, - только в 1818 г., благодаря Ройе-Коллару, она была введена в систему среднего образования. Андриё, преподаватель словесности, восполнял этот пробел, заставляя своих учеников делать выдержки из исторических сочинений, например, из «Древней истории» Роллена, по которой Мишле написал свое школьное сочинение о Сезострисе.

В диссертации Мишле мы не найдем никаких новых мыслей. Это просто литературное упражнение классического характера. Но в следующие затем годы Мишле непрерывно изучает исторические труды, главным образом по европейской истории, продолжая заниматься античностью и филологией. Кроме древних языков, он знает английский и итальянский. В конце 1820 г., читая «Коринну» и «О Германии» мадам де Сталь, он убеждается в том, что необходимо знать и немецкий: «Не зная языков, чувствуешь себя изолированным от остального мира». Однако немецким языком он овладел только к 1828 г. Вместе с тем он читает Шекспира и Вальтер Скотта, о котором отзывается почти восторженно. Правда, Мишле «не понимает» исторического романа: смешение исторического и вымышленного он считает недопустимым, зато описания Скотта, т. е. собственно историческая и живописная часть его романов, кажутся Мишле превосходными.

В 1822 г., вспоминая о своих замыслах 1819 г., кроме истории философии он называет и книгу: «Характер народов, изученный по их словарю», - по-видимому, этимологический анализ, который затем привел его к вопросу: «Почему наш язык уже не поэтичен?» Ход мысли для эпохи весьма банальный, так как об упадке современного поэтического языка, как и о поэтичности первобытного языка, в «век философии» говорили все.

Уже в это время интересы Мишле распределялись равномерно между литературой, философией и историей. «Я испытываю необходимость сочетать философию с *Историей*, - записывает он в 1822 г., - Они дополняют одна другую». В 1818 г. он читает Ларомигьера, в 1820 - «Историю философских систем» Дежерандо, в 1821 - «Essays on the active power of Man» Томаса Рида, в 1822 - «Philosophy of human mind» Дугальда, его же «Историю метафизических, нравственных и политических наук» (первые 2 тома) и «Историю философии» Деланда.

Из этих имен особый интерес представляет для нас Томас Рид. <...> Рид основанием своих размышлений делает «common sense», Это «здравый смысл», или «всеобщее убеждение» в реальности некоторых понятий, которые сомнению подлежать не могут. Наши способности имеют свои законы. Эти законы являются конститутивными принципами нашей природы, инстинктами нашего ума, здравым смыслом человечества. Задача философии - в том, чтобы оперировать с фактами нашего сознания, как физика и химия оперируют с фактами внешнего мира.

Из этого признания здравого смысла, как основы и принципа рассуждений, вытекает вся философия Рида. Все то, во что не верило человечество, он называет принципиально истинным, а задачу философа полагает в том, чтобы демонстрировать это.

Мишле читал Дугальда-Стюарта раньше, чем Рида, однако Рид произвел на него большее впечатление: он дал ему представление о шотландской философии вообще. В октябре 1821 г. он «с чрезвычайным рвением» конспектирует Рида, чтобы отвлечен от своих педагогических обязанностей. «Я живу только в Риде», записывает он через неделю, а еще через несколько дней замечает, что конспектов недостаточно, и, чтобы извлечь наибольшую пользу из чтения Рида, он решает записывать свои размышления в «Дневник своих идей».

Изучение Рида должно было сыграть большую роль в умственном развитии Мишле. У Рида Мишле нашел принцип философского исследования, на котором Вико базировал свою философию истории. «Здравый смысл» Вико возник на иных предпосылках, он обязан своим происхождением той философии, с которой Рид вступил в упорную борьбу. Однако в научном применении этого принципа Вико был близок к Риду, и Мишле, несомненно, интерпретировал его «здравый смысл» с точки зрения шотландского философа.

Таким образом, когда в 1824 г. Мишле почти одновременно познакомился и с философией истории Кузена, и с «Новой наукой» Вико, он оказался достаточно подготовленным к той и к другой, главным образом благодаря «философии здравого смысла». <...> Мишле обнаружил «логику истории» - возможность отделить закономерное от случайного, найти законы исторического движения и предсказывать будущее. С этого момента и начинается интерес его к философско-историческим проблемам.

В том же 1824 г., в начале апреля, друг Мишле, философ Поре, представил его Кузену. Проповедник и «руководитель» по натуре, Кузен тотчас же вошел в роль и преподал Мишле советы, которые расходились с советами Вильмена. Последний рекомендовал Мишле написать историю греческой литературы в восьмидесяти томах, т.е. сделать для Греции то же, что сделал Вико для Италии и Сисмонди для южной Европы - то, что Вильмен в ближайшие годы должен был сделать для европейской литературы XVIII в. Однако советы Вильмена кажутся Мишле годными только для текущего момента, между тем как советы Кузена пригодятся на всю жизнь. Очевидно, Кузен рекомендовал ему сочетать философию с историей, применив абстрактную философскую схему развития человечества к конкретному историческому материалу.

<...> Одновременно с переводом Вико Мишле предпринимает или обдумывает целый ряд других работ. С декабря 1824 г. он пишет учебное пособие - «Хронологический очерк новой истории» («Tableau chronologique de Histoire moderne»), которое вышло в апреле 1825 г., а через год печатает продолжение его - «Синхронические очерки новой истории с 1453 по 1643 г.» («Tableaux synchroniques de l'histoire moderne de 1453 a 1643»). Появилось в мае 1826 г.). В то же время он задумывает «Философские этюды о поэтах», где хочет рассмотреть отдельные литературные темы и образы с кузеновской точки зрения: трагедия Сократа - это борьба конечного с бесконечным, Сатана - лишь форма бога, с которым он, наконец, сливается, и т.д. Затем он задумывает сочинение, в котором литература должна рассматриваться как выражение человеческого духа: Мишле стремится к той «всеобщей» науке, идеал которой явно связан с учением Кузена.

В августе 1825 г. на акте в коллеже Сент-Барб Мишле произносит речь «О единстве науки». Развивая идею Паскаля, он рассматривает человечество как индивидуум, который непрестанно учится. Мысль человеческого рода представляет собою непрерывную цепь открытий и благодеяний и создает «идентичность» человечества. Идеи человечества выражены в языках. Каждая историческая эпоха есть фаза в развитии человечества. Греция - это младенчество, отличающееся живым воображением, любовью к чудесному и прекрасному. Рим - следующий возраст, стремящийся к полезному, переходящий от художественных восторгов к законодательству и политической организации. Затем утомленное и ставшее рассудительным человечество проходит сквозь испытания средних веков. Каждый век - это дальнейший шаг в развитии всего рода. История осуществляет замыслы Провидения, и, обучая истории в том же порядке, в каком следовали один за другим века, мы воспроизводим этапы, установленные богом для воспитания человеческого рода.

Эта первая печатная работа Мишле представляет собою довольно точное воспроизведение философско-исторических идей Кузена. Основные теоретические принципы и весь ход мысли - типично кузеновские, и влияние Вико здесь неощутимо.

Дневник свидетельствует о том, что эта философская тенденция все углубляется. В сентябре 1825 г. задумана «Философия Фукидида», а затем «Философия Эсхила», в которой Мишле хотел изучить историю фатализма от язычества до христианства, чтобы опровергнуть фатализм и утвердить идею свободы. Затем следуют замыслы: «Переписка пап», вроде изданного Гизо собрания мемуаров, «Искусство стиля в связи с нравственностью», «История реформы» и «История Лиги», «Руководство по истории в географическом порядке», «Исторические памятники христианства» (в ста томах) и т.д. В феврале 1826 г. Мишле набрасывает план работы, весьма напоминающей «Введение во всемирную историю», напечатанное в 1881 г., а в апреле собирается читать речь о «Всемирной истории» на акте в коллеже Сент-Барб.

В эти годы он часто встречается с Баланшем, подготавливающим первый том своей «Социальной палингенезии» (1827). Развитие, понимаемое как нравственное совершенствование в результате духовной борьбы и испытаний, намечается уже в речи «О единстве науки» и ведет свое происхождение не от Вико и Кузена, а от Баланша.

Наконец, еще одно немаловажное событие в научной биографии Мишле - знакомство с Хердером и его переводчиком Кине. Мишле и Кине встретились у Кузена после его возвращения из Германии. Здесь между ними завязалась дружба, длившаяся несколько десятилетий и так же, как дружба с Кузеном, распавшаяся. По рукописному переводу Кине Мишле впервые познакомился с «Идеями» Гердера, который оказал на него почти такое же влияние, как и Вико.

В 1827 г. появился главный труд всех этих лет, перевод «Новой науки». Начатый в июне 1824 г., он был закончен в октябре и вышел в свет под названием «Основы философии истории, переведенные из «Новой науки» Дж.-Б. Вико». Перевод, сделанный с издания 1744 г., весьма вольный. Мишле позволяет себе сокращать оригинал, уничтожать повторения, нарушавшие последовательность повествования, переносить целые страницы, в другое место, наконец, вычеркивать «странные парадоксы и неверные этимологии, которые до сих пор дискредитировали бесчисленные истины, заключенные в «Новой науке». Мишле изменил даже название, что весьма удивляло критику. Он поступил правильно: если бы он точно воспроизвел издание 1744. г., он обрёл бы свое предприятие на неудачу: едва ли французский читатель 1827 г. осилил бы это сочинение, изложенное геометрическим методом по чрезвычайно сложному плану. «Без сомнения недалек тот день, когда имя Вико займет достойное его место, когда исторический интерес распространится на все, что он написал, а заблуждения его не будут вредить его славе; но это время еще не пришло», - пишет Мишле.

Подобной же «чистке» подверглась и автобиографическая заметка Вико, приложенная к переводу. Мишле вычеркнул из нее все те места, где автор излагает свое учение, но дополнил ее сведениями, почерпнутыми из других трудов и писем Вико.

В таком виде Вико впервые предстал перед французской публикой. Некоторые французы и прежде слышали о неаполитанском философе и юристе, который в Италии давно пользовался прочной славой. «Новая наука» уже получила отражение в сочинениях французских «мистиков» XVIII в. Стендаль собирался читать Вико в 1808 г., Форель был хорошо знаком с ним еще в 1800 г., а в 1817 г., по просьбе Гизо, должен был написать о Вико статью в «Archives philosophiques». Итальянец Ф.Сальфи посвятил Вико обширную статью в «Revue Encyclopedique». Кузен был знаком с его учением не только по статье Сальфи, как полагает Моно, но и по немецким курсам истории философии. Бюшон написал заметку о «Новой науке» для французского перевода Дугальда-Стюарта (1823). Баланш читал его с 1824 г. и свободно толковал, использовав многие его идеи для своей «Социальной палингенезии» (1827). Уже после того, как в газетах появились сообщения о подготавливаемом к печати переводе Мишле некто Т.Аллье (Th. Allier), «адвокат королевского суда», оповестил его о том, что он, Аллье, в течение двух лет переводит «Новую науку». Говорили, что одновременно с Мишле переводил Вико и Арман Каррель. Но только теперь французские читатели могли познакомиться с «Новой наукой», хотя и в некоторой литературной обработке.

Согласно традиции, Мишле противопоставляет Вико его эпохе. Вико кажется ему «одиноким гением», основавшим философию истории, в то время как «толпа» сражалась за или против Декарта. Он говорит о Вико как о новом этапе в развитии человеческой мысли, оперируя при этом чисто кузеновским методом. Это все то же гегельянское трехчленное развитие. Первоначально человеческий ум познает мир в религии, поэзии и искусстве. Он чувствует многие истины, не «зная» их научно. Затем наступают сомнения. Защищаясь от безжалостного скептицизма, человек утверждает в своем знании: теперь он уже сознательно и научно знает то, что прежде знал несовершенно и приблизительно. В «скептический» период развития ум человеческий ограничивает себя тем, что непосредственно засвидетельствовано его внутренним чувством. Поняв свои силы, он снова выходит во внешний мир, чтобы заняться изучением исторических фактов. Продолжая искать правду (le vrai), он не пренебрегает и правдоподобным (le vraisemblable).

<...> «Историческая тенденция», которая отличает XIX в., и есть, по мнению Мишле, попытка выйти из объективный мир, принять «всеобщее мнение» и «правдоподобное». «Мы желаем, чтобы события были истинны в их малейших подробностях; та же любовь к правде заставит нас изучать их отношения, наблюдать законы, ими управляющие, наконец установить, нельзя ли сделать историю наукой».

Такую цель и поставил себе Вико. Основная задача «Новой науки» - описать тот «идеальный круг, в котором вращается действительный мир». «Новая наука», утверждает Мишле, получает свое единство от религии, творческого и охранительного принципа общества. «До сих пор говорили только о естественной теологии; новая наука - это теология социальная, историческое доказательство провидения, история внушений, при посредстве которых, без ведома людей и часто вопреки их воле, провидение управляло великим градом человеческого рода».

Все дальнейшее представляет собою не столько изложение системы Вико, сколько, самостоятельное творчество на заданные неаполитанским философом темы. Впрочем, система Вико и до сих пор рассматривается почти с той же точки зрения, на которую стал Мишле, т. е. в аспекте XIX в. и сквозь философию истории Гегеля, а не в аспекте XVIII в., рационалистического и сенсуалистического. Из «Новой науки» Мишле берет только то, что нужно ему для построения собственной философии истории. Он толкует отдельные положения Вико в явно гегельянском (или, вернее, кузеновском) духе. Он цитирует слова Вико, требующего «последовать за суждением индивидуальным, относясь с почтением к авторитету; применять метод, но метод различный, соответственно природе вещей». Однако под «авторитетом» Мишле понимает «всеобщее мнение», в том смысле, какой этот термин получает в системе Рида и его истолкователя Кузена. Он больше, чем то делает Вико, настаивает на провидении, толкуя его в более «реальном», прямом смысле. Наконец, в учение о замкнутых кругах, которые проходит всякая национальная история, он вносит идею прогресса в большей дозе, чем то допускает система Вико. Он не искажает Вико прямо и преднамеренно, но, отождествляясь с ним, он слегка сдвигает точки зрения, переставляет акценты, кое-что выдвигает на первый план, иное отстраняет в тень. Он часто совсем забывает о Вико и говорит от своего лица: «Мы».

Изучив судьбы каждого отдельного народа и познав законы постоянных «кругов», люди, по мнению Мишле, смогут управлять жизнью человечества и поднять общество на высшую ступень цивилизации. Тогда теория будет в согласии с практикой, сознательная мудрость - с инстинктивной, ученые с мудрецами и философы с законодателями.

«Новая наука» построена на двух основах: на философии, которая требует не отказа от страстей и не уничтожения инстинктов, а мудрого руководства ими, и на филологии, считающей всеобщее мнение» и «народную мудрость» правилом, которое дано человеку для руководства в общественной жизни.

Народная мудрость повсюду одинакова, хотя возникает у каждого народа самостоятельно. Эта «идентичность» человеческой мысли объясняет и проблему «общественности» человека.

Далее Мишле - не совсем точно - характеризует три эпохи развития человечества: божественную, или теократическую, героическую и человеческую, или цивилизованную. Чтобы объяснить возникновение цивилизации и превращение гигантов в людей, Мишле сравнивает развитие общества с развитием отдельного человека. Так он устанавливает чувственный характер первобытного мышления, возникновение политеизма, роль поэтов в первобытном обществе, и т.д. Вследствие предметности первобытного мышления отвлеченные идеи были рваны именами отдельных лиц. Однако это не реальные исторические лица. Имена Гермеса, Ромула, Геркулеса и Гомера следует рассматривать как выражение национального характера того или иного народа, а вместе с тем той или иной эпохи, - изобретательности египтян, первобытной общественности древних римлян, греского героизма, греческой народной поэзии. <...>

Так Мишле приходит к мысли, которую с такой настойчивостью высказывали и Тьерри, и Гизо, и Кузен, которая лежала в основе исторических взглядов Миньо и Тьера: не политический строй создает общественные отношения, но общественные отношения создают политический строй, который лишь формулирует их в правовых нормах и охраняет полицейскими средствами. Это все та же борьба с «конституционализмом», которая шла по различным каналам и приводила к пониманию надстроечного характера государственного строя.

В первобытные времена право и разум выступают в форме предписания божества, как непреложные повеления, утверждает Мишле. Малейшее сомнение в них и даже попытка их объяснить считались богохульством. В эпоху, когда люди не могли еще постичь идею права и мыслить разумно, они нашли в самом заблуждении правило порядка и поведения. Справедливым и законным было все то, что освящалось традицией и религиозными обрядами. С такой точки зрения объясняются поединки («суд божий») и другие «предрассудки».

В «героическом» обществе закон основан только на авторитете. Он не подлежит обсуждению. Единственное основание его существования в том, что он «записан». В следующую эпоху силы авторитета оказывается недостаточно: закон должен быть утвержден на идее справедливости, на разуме. Это эпоха «человеческая». По мере того как древние «героические» аристократии сменяются демократическими и монархическими правительствами, гражданское право приобретает доминирующее положение в сравнении с правом государственным, так как частный интерес начинает выделяться из интереса государственного. В «человеческих» обществах естественный принцип равенства, который покоится на естественном уме, вложенном природой в каждого человека, оказывается принципом общественным он выражается в равенстве гражданском и политическом. Единственное неравенство, сохраняющееся в хорошо организованных народных республиках, - экономическое: «Его хочет бог для того, чтобы дать преимущество бережливости над расточительностью, трудолюбию и предусмотрительности над беспечностью и ленью».

Так «демократизм» Мишле вскрывает свою буржуазную природу. Экономическое неравенство, т. е. право капиталистической эксплуатации Мишле рассматривает как божественный закон, как необходимое условие общественной жизни и нравственности, - в совершенном согласии с Кузеном, видевшим в собственности такое же неотъемлемое право личности, как и право на свободу. «Народные республики», о которых говорит Мишле, - не что иное, как буржуазные республики, предполагающие классовое господство буржуазии над трудящимися массами.

Однако народные государства (*etats populates*) «портятся». Богатые пользуются своим богатством как орудием тирании; народ, который в период «героических» правительств требовал только равенства, теперь стремится к господству, у него появляются честолюбивые вожди, которые предлагают ему «народные законы», имеющие своей целью обогащение бедняков. Борющиеся партии не удовлетворяются законными средствами. Споры разрешаются путем насилия. Так возникают гражданские, внутренние войны и несправедливые внешние войны. Начинается анархия, принуждающая граждан отдаться в руки монарха. Таков «королевский закон», на котором Тацит основывает власть Августа.

Монархия устанавливает равенство в повиновении. Монарх поступает не по закону, а в соответствии с «естественной справедливостью», поэтому эта форма правления наиболее соответствует природе в эпоху наибольшего развития цивилизации.

Как можно было видеть, образцом этой идеальной истории считается история Рима. Отсюда и славословия императорскому (монархическому) режиму, у Мишле приобретающие бонапартистский характер. При монархическом режиме, пишет он, благодетельные законы спускаются вплоть до рабов, и гражданство распространяется на весь мир, который Антонин Благочестивый хочет превратить в единый град. «Такова вся государственная и гражданская жизнь народов, пока они сохраняют свою независимость. Они меняют три образа правления. Божественное законодательство утверждает домашнюю монархию и начинает собою человечество; героическое или аристократическое законодательство образует общество (град) и ограничивает злоупотребление «силой»; законодательство народное утверждает в обществе естественное равенство; наконец, монархия должна прекратить анархию и развращенность нравов, которая эту анархию создала». Если же это средство не помогает, то народ, ставший рабом своих страстей, становится рабом другого, лучшего народа, который подчиняет его силою оружия и, покоряя его, спасает. Несомненно, Мишле прилагает эту «идеальную» историю к Франции. Переход от «аристократического» режима XVIII в. («народному законодательству») во время революции, «анархия» развращенность нравов в период Директории, и спасение в лоне наполеоновской империи, распространившей новый гражданский кодекс на добрую половину Европы, - так воплощается эта тема в сознании французского историка 20-х годов, все еще рассматривающего Наполеона как «либерального» императора и противопоставляющего эту легенду действительности Реставрации.

Таковы два естественных закона: «Тот, кто не может управлять собою, покорится», и: «Господство над миром принадлежит лучшему». Общество, пришедшее к своему упадку, должно погибнуть. Опять люди вернутся в прежнее звероподобное состояние, и вновь, медленно проходя те же этапы, человечество будет подниматься на вершины цивилизации.

Так на развалинах древней Римской империи возникла новая европейская культура, установилось христианство, противопоставившее добродетель мучеников римскому могуществу, опять начались «благочестивые войны», войны с готами-арнавами и арабами-мусульманами, начались божьи суды, притеснения и рабство героических времен. Мишле находит в средневековье даже иероглифические знаки (латынь), заменившие несуществующее на народных языках письмо.

Но все эти соответствия внушают Мишле веру в единую человеческую республику, управляемую божественным промыслом. Катастрофы, в которых гибнут государства и народы, кажутся ему средством спасения и свидетельством мудрости превыше человеческой.

Идеалистическая схема, которой Мишле подчиняет исторические факты, напоминает Кузена в большей степени, чем Вико. Теорию Вико Мишле использует ради гегельянского оправдания успеха. Он явно расходится с Тьерри, который в бедствиях человечества и в феодальном насилии видел стимул для борьбы за справедливость. Так же как Гельвеции, он считает иностранное завоевание единственным спасением для развращенных народов. Однако Гельвеции, наблюдая Францию Людовика XV, считал гибельным для страны режимом не республику, но феодальную монархию, между тем как Мишле в империи видит спасение от «демагогии» и анархии «испорченных» народных республик.

Схема Вико попала в другие политические условия и совершенно изменила свой смысл. В «испорченной» республике, впавшей в анархию и раздираемой распрями честолюбивых вождей, современники должны были узнать последние этапы французской революции, а в «спасителе» - Наполеона, установившего новую монархию.

Идеалы молодого Мишле не шли дальше «либеральной монархии». Через несколько лет Мишле лучше поймет и природу монархии, и природу французской революции. Поражает также и мысль о том, что завоевание приносит с собою свободу и высшую цивилизацию. Мысль эта станет понятной, если вспомнить, что завоевание Римской империи, уничтожившее древнее рабство, рассматривалось как победа демократического начала над началом аристократическим. В эпоху Мишле эта идея могла послужить оправданием колониальных войн и уничтожения древних национальных культур. Действительно, уже в 1831 г., словно не понимая, что делает, Мишле говорит о английской ост-индской компании, с невероятной жестокостью устанавливавшей в Индии колониальное рабство, как о носительнице высшей культуры, приносящей идею свободы в страны Азии.

Мишле настойчиво повторяет основное положение «Новой науки»: люди сами создают свой общественный строй, но в то же время обязан своим происхождением разуму, который часто идет наперекор индивидуальным целям отдельных людей и всегда бывает выше этих целей. Первобытные люди стремились к грубому наслаждению - и создавали святость брака; отцы семейства злоупотребляли своей властью над подчиненными - и создавали общество. Частные цели людей оказываются средствами, при помощи которых проведение осуществляет свои высшие цели.

В течение всей жизни Мишле говорил, что Вико, вместе с Вергилием, «создал» его. Мишле нашел у Вико идеи, уже разрабатывавшиеся французскими историками 20-х годов: история должна быть историей масс, а не личностей, личность - вымысел масс и является их выразителем, история каждого народа имеет свою национальную форму, национальные истории в своей циклической завершенности подчиняются одной, и той же схеме развития, а народы входят в общечеловеческое единство так же, как личности входят в единство национальное.

Особое значение имела для Мишле идея исторического закона, охватывающего всю человеческую историю. В судьбах отдельных наций осуществляется «идеальная история», и, следовательно, каждая эпоха, переживаемая данным народом, есть необходимая фаза общечеловеческого развития.

Не меньшую роль сыграло для Мишле викианское учение об истинном и ложном. Исходя из положений современной ему эмпирической философии, Вико признал за «всеобщим разумом» познавательное значение, в котором ему отказывали индивидуалисты картезианского толка. В этом отношении Вико словно подтверждал основную идею Рида, которого Мишле изучал еще 1821 г. С такой точки зрения подлинная история заключается в истории человеческих заблуждений, и ложь свидетельствует об истине. Тесно связан с этим и исторический символизм, который Мишле извлек из «Новой науки», и знаменитое, сыгравшее огромную роль в дальнейшем развитии Мишле, положение: «Человечество само создает себя», - положение, к которому он был подготовлен кузеновским «саморазвитием человечества».

«Новая наука» была лишь отправной точкой, стимулом и материалом для собственного философского творчества. Даже тогда, когда Мишле казалось, что он просто повторяет Вико, он говорил нечто совсем иное. Это понятно и неизбежно: идеи Вико вошли в философскую и политическую атмосферу, имеющую мало общего с той социальной и интеллектуальной почвой, на которой эти идеи выросли. Они должны были вступить в новые ассоциации и приобрести новый смысл, чтобы снова стать живыми и действенными. Вот почему философия истории Мишле, несмотря на всю свою зависимость от Вико, является самостоятельным и оригинальным построением.

В феврале 1827 г. Мишле был назначен профессором философии и истории в «Ecole normale». Теперь больше чем когда-либо он подчеркивал единство философии и истории. В первой же лекции он высказал свою точку зрения: философия и история подкрепляют одна другую, истина может быть достигнута лишь параллельным их изучением. Это, конечно, мысль Кузена, который историю философии превращал в философию истории, а историю человечества рассматривал как неподвижную геометрию. Эту мысль Мишле записывает 8 апреля 1827 г.: «Философия - это идеализированная история, а история - символизированная философия».

В связи с задачами преподавания, в мае 1827 г. Мишле начал писать новое учебное пособие, законченное в апреле 1828 г., - «Очерк современной истории».

Этот учебник отличается от аналогичных, современных ему работ тем, что он излагает не историю отдельных государств, а историю Европы в постоянном взаимодействии между отдельными государствами. Мишле рассматривает отдельные формы социальной жизни, отдельные «элементы» истории, выражаясь словами Кузена, в их взаимосвязи. Развивая мысль о зависимости политического строя от общественной структуры, он объясняет, например, развитие военного искусства изменениями в социальной жизни, а религиозные войны в Германии - экономическими интересами князей. Следует отметить также драматические и живописные качества книги и то «символическое» искусство, которое останется характерным для дальнейшего его творчества.

1828-1830 гг. прошли в напряженном труде. В 1829 г. министерство Полиньяка запретило Мишле читать курс философии на том основании, что Мишле был сторонником Кузена, и поручило этот курс Сафари, который был последователем Кондильяка и вместе с тем пылким католиком. За это время Мишле совершил два путешествия с научной целью, в Германию и в Италию, чтобы собрать материал для задуманной им истории этих стран. Однако июльская революция заставила его обратиться к другой теме и к другому жанру. Вскоре после июльских дней Мишле написал небольшую книжку, появившуюся только в апреле 1831 г., - «Введение во всеобщую историю».

Брошюра эта внушена была событиями 1830 г. Применяя викианскую философию истории к современности, Мишле должен был все больше перестраивать ее и дополнять новыми идеями. «Введение во всеобщую историю» было попыткой осмыслить современность и предсказать будущее: ведь именно пророчеством считает себя тайно или явно всякая философия истории. «Эта небольшая книжка, - пишет Мишле в предисловии, - с тем же правом могла бы называться «Введением во французскую историю». Конечной целью ее является Франция... Логика и история приводят автора к одному и тому же заключению: его славная родина есть отныне пилот корабля человечества... Для того чтобы понять Францию, истории мира не слишком много». «Введение» было вызвано, «с одной стороны, идеей свободы, с другой - желанием рассеять страх перед революцией как перед надвигающимся «роковым хаосом», как перед неизбежной «необходимостью» анархии и террора. Ведь «необходимостью», торжеством рока казалась буржуазным либералам «анархия» 1793 г., и не та же ли анархия угрожает Франции и теперь? Мишле хотел показать, что в 1830 г. победила свобода, что французы могут сохранить свободу, так как они стоят во главе человечества и идут вперед, а не регрессируют к звериному состоянию. В тот год, как писал сам Мишле, вся история казалась ему «сплошным июлем», т. е. непрерывным завоеванием свободы.

Таким образом, основной проблемой книги является проблема необходимости и свободы, страстно волновавшая историков и философов в период Реставрации. «С началом мира началась борьба, которая и закончится только вместе с миром: борьба человека с природой, духа с материей, свободы с роком. История есть не что иное, как рассказ об этой нескончаемой борьбе». Задача его книги заключается в том, чтобы обосновать точку зрения свободы. «В последние годы рок, казалось, овладел нацией так же, как миром. Он спокойно утверждался в философии и в истории». Теперь свобода восторжествовала в обществе; пора ей вернуть свои права и в науке. «Если это «Введение» достигнет своей цели, история предстанет как вечный прогресс, как все Возрастающая победа свободы».

Мишле сражается не только с Жозефом де Местром и Бональдом, но и с Тьерри, и с «фатальной» школой Минье и Тьера, с сен-симонизмом.

Мишле назвал своих противников только в записи 1871 или 1872 г. Моно сомневается в точности этих воспоминаний на том основании, что в 1831 г. Мишле весьма уважал Тьерри и сам интересовался этническими элементами, из которых сложилась французская национальность. Моно утверждает также, что Мишле почувствовал свое несогласие с Тьерри только в 1840 г., после того как прочел в «Размышлениях об истории Франции» выпад против его «психоматии». Моно подкрепляет свои соображения тем, что Тьерри в расовом фатализме неповинен. И все же Мишле в своем «Введении» несомненно полемизирует с Тьерри.

В фатализме обвиняли Тьерри почти все современные ему критики. Затем, уже в 1839 г., в своей «Истории Франции» Мишле выступил против «теории завоевания» в том понимании, какое ей придавал Тьерри. Наконец, в самом «Введении» есть фразы, не оставляющие на этот счет никаких сомнений.

Известно, что Тьерри резко отрицательно относился к уничтожению старого деления Франции на провинции и к установлению департаментов: это казалось ему оскорблением национального чувства жителей и уничтожением всякого «местного», а следовательно и, «общего», патриотизма. Мишле прямо полемизирует с этим: «Французская революция, как будто проявившая материализм, разделив страну на департаменты, которые называются по именам рек, тем не менее уничтожает провинциальные национальности, которые до того времени поддерживали Местные необходимости от «имени свободы». Наконец, в примечании к «Введению» - явный намек на Тьерри: «Этот упрек (в фатализме) не может быть обращен к г-ну Гизо. Он уважает нравственную свободу больше, чем какой-либо другой историк нашего времени; он не подчиняет историю ни фатализму национальности, ни фатализму идей; столь обширный ум естественно отбрасывает всякое исключительное разрешение вопроса».

Это несколько не мешало Мишле учитывать в своих исследованиях национальный фактор. В 1829 г. задуманную им историю европейских государств, в том числе Франции, он хочет писать по отдельным провинциям, чтобы изучить вопрос национальностей. Путешествуя по Италии, он обращает внимание на этнический состав населения, в первой части своей «Римской истории» пытается определить, хотя и весьма неясно, значение каждого этнического элемента, вошедшего в состав Римского государства, и соображения Амедея Тьерри подтверждает ссылками на книгу своего друга доктора Эдвардса.

Но с Кузеном Мишле не полемизирует, - это развитие кузеновских идей, а не борьба с ними.

Сам Мишле связывает свое «Введение» с теориями Вико. Здесь фигурируют викианские понятия - первобытное, героическое и монархическое общества, те же периоды, тоже развитие и упадок. Но идеи Вико здесь получают новое истолкование или, лучше сказать, служат иным целям. Мишле утверждает, что содержанием мировой истории является развитие свободы. В Индии, колыбели человечества, господствовала Необходимость. Затем человечество, передвигаясь с Востока на Запад и следуя «движению солнца и магнетических токов земного шара», обретает некоторую свободу в Персии. Далее Мишле говорит, что и в Египте, так же как в Индии, возникли первые проблески свободы, а в Иудее, так же как в Персии, свобода могла, наконец, остановиться и отдохнуть. И дальнейшее развитие свобода получила в Европе, географическое положение которой, строение почвы и линия берегов благоприятствовали этому. Греция, Рим, Франция являются поочередно носителями ее. Свобода шествует с древнего Востока на новый Запад.

Развитие свободы, говорит Мишле, происходит в постоянной борьбе ее с необходимостью. Борьба эта принимает различные формы в зависимости от местных условий. Пусть вечно продолжается эта битва! Она создает достоинства человека и гармонию.

Под свободой Мишле понимает и независимость человека от природных сил. Именно борьбой против природы и покорением стихий началось первое освобождение человека. В изложении Мишле эта борьба с природой незаметно переходит в социальную борьбу, и вместе с тем социальные силы рассматриваются в том же аспекте, что и силы стихийные. Мишле ставит Вико выше Гердера, потому что Вико рассматривает человечество не как растение, вскормленное небесной росой, но как гармоническую систему гражданских установлений. Однако первые же страницы брошюры, заставляют предполагать, что гердеровское дуалистическое начало сочеталось у него с викианским.

Свободу, по мнению Мишле, можно завоевать не одной только физической силой и не путем одного лишь устранения предыдущей общественной системы. Мишле подчеркивает то, что у Вико не было ясно сформулировано; *обладатель* твердо упирается в неподвижную почву авторитета, писаного закона; *проситель*, «подвижной атлет», пользуется оружием интерпретации. «И судья, увлекаемый временем, будет стараться только о том, чтобы спасти неподвижную букву, внося в нее новый дух». Это замечание имеет важное значение для «истории идей», для внимания той роли, которую один и тот же памятник, архитектурный, литературный или юридический может играть в разные эпохи.

Повсеместная и непрерывная борьба свободы и необходимости должна закончиться победой свободы, так как силы ее непрестанно возрастают, а силы необходимости остаются теми же. Но в таком понимании эта идея выходит за пределы Вико. Речь идет уже не об «идеальной истории», которая у Вико является повторением одного и того же цикла социальных превращений, проявлением тех же неизменных исторических законов, а о мировом прогрессе. Викианские круги располагаются здесь не в одной плоскости, а спиралью, и во множестве аналогичных трансформаций человечество движется к духовному и социальному совершенству.

Новой в сравнении с Вико является и мысль о соответствии различных географических условий этапам цивилизации, совершающей, вслед за «магнетическими токами земли», свой путь с Востока на Запад. Вместе с тем идея прогресса приобретает особый смысл. Социальное развитие рассматривается как некая нравственная обязанность человека, а регресс, возвращение к предыдущей стадии, - как кара за неисполненный долг. Вся система окрашивается телеологическими тонами.

«Героический мир Греции и Рима, предоставив ремесла побежденным, рабам, не дал дальнейшего развития той победе человека над природой, которую называют индустрией. Древние промышленные расы, пелазги и другие, были поработаны и погибли. Потом из числа победивших племен погибли низшие, - ахейские и т. д., а затем среди оставшихся племен, среди дорян, ионян, римлян, в свою очередь погибли бедные. Тот, кто имеет, получит больше, у нуждающегося отнимется, если промышленность не перекинет мост через бездну, отделяющую богатого от бедного. Экономия заставила предпочесть труд рабов, т. е. труд вещей труду людей; экономия заставила рассматривать эти вещи как вещи: если они погибали, хозяин дешево покупал их, и еще зарабатывал на этом... Между тем язва рабства все больше развивалась, ничто не могло ее насытить. Тогда начался упадок народонаселения, приготовивший место варварам. Указывая на экономические причины падения античной цивилизации, Мишле подает их в некотором нравственном аспекте: античный мир был виновен в том, что пользовался трудом рабов, что не продолжил первоначальной победы над природой, не развил промышленности. Рабство кажется здесь не только экономической язвой античного мира, но и нравственным пятном, лежащим на античном человеке. Завоевание Рима варварами не только необходимо, но и нравственно оправдано, и впечатление это подчеркивается цитатой из «Умиряющего гладиатора» Байрона.

Мишле говорит не только об экономическом упадке античного мира, но и об упадке духовной его культуры. После греческого влияния Рим испытал влияния восточные. Столица мира была перенесена на Восток, оргиастические культы проникли в центр западной цивилизации. Вслед за Кибелой, Аписом, Сераписом и Митрой приходит бог иудейский, подчиняющий себе древнюю культуру. Христианство отличалось от других восточных культур тем, что оно было религией смерти, между тем как другие были религией жизни. И Мишле прославляет христианство как высший пункт религиозного сознания человечества и символически целует деревянный крест, возвышающийся посреди побежденного новой религией Колизея.

Следовательно, античная цивилизация разрушилась - с одной стороны благодаря рабству, с другой - благодаря влиянию восточных религий. Античная цивилизация пала, возвращаясь к первобытному состоянию, и каждое дальнейшее видоизменение было шагом назад, к чудовищному варварству, к Необходимости. Не использовав свою победу над природой, мир должен был снова ей подчиниться. Одной из восточных религий, оказавшей наиболее разрушительное действие на римскую цивилизацию, было христианство. Оно воплотило в себе идею неподвижного «божественного» или «героического» Востока. Этот примитивный восточный мир разрушил более высокую цивилизацию и подчинил себе Запад. Следовательно, христианство нужно считать орудием необходимости, а время его торжества - возвращением к первобытному состоянию, к варварству? Такой вывод можно было бы сделать из основных положений Мишле. Однако в эту циклическую систему Вико, принятую Мишле с таким самозабвенным восторгом, вторгается идея непрерывного прогресса, нравственного и духовного развития, разработанная в более поздних философско-исторических системах. Мишле рассматривает падение античного мира как наказание за его нравственное несовершенство, но христианство кажется ему шагом вперед, спасением человечества от угрожавшего ему варварства. Затем, вновь возвращаясь к циклизму, он характеризует раннее средневековье как первобытную теократию, утверждает, что грубая материальная сила германских варваров была покорена духовной силой христианской церкви, а крестовые походы были борьбой «святой свободы с чувственной и нечестивой природой». Это духовное общество, общество «святой свободы» создало готическое искусство, самое долгое выражение его небесных устремлений.

Однако «очарование было нарушено»: Кельнский собор не смог вместить толпы народа. Сперва появился одетый в черное легист, потом купец загородил перед рыцарем свою узкую городскую улицу, наконец, поднялось существо, копавшееся в земле на четвереньках, и поразило рыцаря в его сияющих латах все уравнивающей пулей: «Победила свобода, победила справедливость. Погиб мир фатальности... Героический закон мира, свобода, которую долго проклинали и смешивали с роком под именем Сатаны, появилась под своим собственным именем. Человек постепенно порывал с натуральным миром Азии и создал при помощи промышленности, при помощи разумного исследование мир, заключающий в себе элемент свободы. Он отошел от бога-природы фаталистической системы... который производил выбор из своих детей, чтобы прийти к чистому богу, к богу души, который не делает различия между людьми и открывает им всё - в обществе, в религии - равенство любви и отеческого лона».

Таким образом, на протяжении четырех небольших страниц Мишле рассматривает христианство как «необходимость», разрушающую античную цивилизацию за ее грехи, как опасение человечества от власти необходимости, как первобытную теократию, как торжество духовного начала над материальным и, наконец, как торжество рока над свободой. Точки зрения меняются буквально с каждой строкой. Слова незаметно меняют свой смысл, идеи отливают всеми оттенками, и одно и то же историческое явление предстает перед нами в прямо противоположных аспектах. Не то, чтобы христианство играло различную роль в разные исторические моменты, сперва прогрессивную, затем реакционную, - Мишле далек от такого разрешения вопроса. В быстрой импровизации, захваченный «пророческим» духом и пестрыми видениями прошлого, он изложил в своей брошюре толпу идей, заимствованных им из разных источников. Викианские круговороты жили здесь наряду с гегельянским мировым развитием, гердеровский натурализм, соседствовал с палингенетическими идеями Баланша, сен-симонистские учения о роли индустрии - с учениями Ламенне. И весь этот хаос идей подчинен идее Свободы, в непрерывном и победоносном движении шествующей сквозь историю, сквозь «вечный июль» в светлое будущее человечества.

Спор между колесом и спиралью был характерен особенно для второй половины 20-х годов, с того момента, как в поле зрения французских историков попала «Новая наука». С замечательной точностью характеризует Жорж Санд состояние умов в эту пору своей молодости: «Древних так любили, что ни за что не допускали, идеи прогресса. Были убеждены в том, что человеческий ум проходит все те же фазы до некоторой степени это верно, и потому больше верили в колесо, которое вращается вокруг своей оси, чем в колесо, которое, вращаясь, движется вперед. Теперь эта истина широко распространяется, но десять лет тому назад (т. е. в 1818 г.) она казалась чрезвычайно спорной». Герои Бальзака в 1822 г. «пытаются узнать, вращается ли человечество вокруг своей оси или движется вперед. Они никак не могли определить, прямая ли это линия или кривая... И тогда появился какой-то пророк, высказавшийся в пользу спирали». Теория спирали кажется собеседникам революционной: «Эти учения могут превратиться в ружейные выстрелы или гильотину». Действительно, июльская революция была предсказана и оправдана этой оптимистической спиралью раннего буржуазного либерализма.

Философия истории Мишле имеет ярко выраженный телеологический характер. Человечество идет к далекой и неведомой цели окольными и непостижимыми путями: «Свобода хитрит с необходимостью, - говорит Мишле по поводу новой интерпретации старых законов, - право становится более гуманным благодаря двусмысленности». Однако «провидение» играет у Мишле совсем не ту роль, какая предоставлена ему в системе Вико. «Новая наука» рассматривает историю как неподвижную геометрию, обнаруживающуюся неизменно в судьбах всех народов. То, что было, то будет. Провидение установило законы, действующие от века и не требующие его дальнейшего вмешательства, так же, как не нужно его вмешательства для того, чтобы в каждом новом треугольнике сумма углов равнялась двум прямым. Понятие провидения у Вико почти совпадает с понятием закономерности. Между тем в теории исторического прогресса, каковою является система Мишле, роль провидения может быть истолкована иначе. Провиденциальная мысль развивается вместе с историей. Провидение карает людей за грехи и ошибки, влечет их по неведомым путям, приближает их к конечной цели, совершенствует их и пестует непрерывно и ежечасно. Оно почти сливается с человечеством. Только в результате такого хода мысли Мишле может считать историю творчеством. Действительно, он с восторгом подчеркивает эту мысль «Новой науки», распространенную еще в XVIII в. и в 1820-е годы повторенную Баланшем: «Человечество своей исторической жизнью создает само себя».

«Введение во всеобщую историю» свидетельствует о том, что Мишле отошел от Вико и пытался утвердить на конкретной исторической почве философию Кузена. Брошюра была написана, по-видимому, с такой поспешностью, что автор не продумал ни общей связи идей, ни терминологии. Отсюда непропорциональность частей и риторическая размашистость композиции при очень небольшом фактическом материале. По-видимому, перечитывая свою импровизацию и почувствовав недостаточность аргументов, он и снабдил ее обширными примечаниями, многие из которых вполне могли бы войти в текст.

Однако, не будучи ни викианским, ни гегельянским в строгом смысле слова, это произведение обнаруживает последовательность и целеустремленность, если рассматривать его как этап в развитии самого Мишле и как акт политической борьбы 1830-1831 гг. Задача Мишле заключалась в том, чтобы оправдать июльскую революцию, чтобы включить ее в исторически закономерный и нравственно справедливый ряд политического развития. Викианская теория не могла этого сделать, так как народные волнения и республиканские «крайности», смущавшие умеренных, с точки зрения Вико следовало понимать как упадок демократии и близость конца, или же видеть в Людовике-Филиппе желанного и неизбежного монарха вроде Августа или Наполеона. Таким образом, одно только обращение к прошлому было бесполезно.

Задачи современности и политическая Позиция Мишле требовали апелляции к будущему и идеи прогресса, которую он нашел в кузеновско-гегелевской системе. Отсюда и борьба с «фатализмом» во всех его видах - с сен-симонистами, которые видели спасение в одной лишь индустрии, с Тьерри, которому Июльская революция должна была казаться победой галлов, между тем как Мишле видел в ней победу демократического начала, с Минье и Тьером, для которых все то, что произошло во Франции, было результатом игры страстей и обстоятельств.

Вместе с тем социологические законы Вико сохраняли свою относительную силу. Общества погибают в силу своей нравственной вины и заменяются другими, более совершенными, и это объясняет падение Реставрации. Демократия, в форме чистой республики или в форме конституционной монархии, может сохраниться, если она будет соблюдать нравственные обязательства перед человечеством, если она будет справедливой и мирной, если она разрешит проблему богатства и бедности или уравнивает классы.

Теория Вико сохранена здесь постольку, поскольку его круги рассматриваются как ступени, поднимающие человечество на высший этап, а его возвращения - как кара за несвершенный общественный подвиг. В этом смысле система Вико останется постоянной спутницей Мишле во всех его исторических трудах.

«Введение» обратило на себя внимание современников - прежде всего Тьерри, увидевшего в нем угрозу для реального изучения истории, и Сент-Бева, считавшего, что исторический процесс шире, чем борьба свободы с необходимостью. Но отклики в прессе были редки, хотя «Введение» было вскоре переведено на немецкий язык как образчик новой французской философии истории. <...>

Достоверность античных рассказов о древнейшем периоде римской истории давно уже подвергалась сомнению. В предисловии к своей книге Мишле называет друга Эразма и соотечественника Цвингли Глорейана, подвергнувшего критике Тита Ливия, Периклониуса, угадавшего за однообразной и торжественной риторикой Ливия народные песни и предания, Бофора, окончательно разрушившего любовно созданный римскими историками патриотический «роман» из древней истории. Мишле мог бы назвать и многих других историков, вслед за Фонтенелем повторявших, что древняя история - лишь общепризнанная выдумка. Споры эти продолжались и в XIX в. В 1815 г. в трудах Французского института печатались сочинения Левека и Ларше, обсуждавших достоверность рассказов Варрона и Ливия. В 1825-1826 гг. хорошо известный Мишле историк Пуарсон, автор нескольких учебных сочинений, в своей «Римской истории» опровергал всех этих скептиков, в особенности Нибура, а Дону, всегда сторонник традиции, взывал их сочинения легкомысленными. Но все это было только разрушением, неглубоким уже потому, что за ним не следовало никакой созидательной работы. Чтобы окончательно опровергнуть вымысел, нужно было воссоздать истину. Это, по мнению Мишле, и сделал Вико. «Человеческий разум, - пишет Вико, - по природе своей любит единообразие. Эта аксиома в применении к мифам покоится на следующем соображении. Человека, прославившегося добрыми или злыми делами, простонародье ставит в те или иные обстоятельства и создает о нем легенды в соответствии с его характером. В фактическом отношении это, конечно, ложь, но по содержанию - истина, так как народ выдумывает только то, что соответствует действительности. Размышляя об этом, мы приходим к заключению, что поэтическая правда истинна метафизически и что фактическая правда, которая ей не соответствует, должна была бы считаться ложной».

Мишле отметил эту столь важную для него мысль в своей вступительной статье. Одно время он хотел даже написать книгу на тему «Буква и Дух», в которой Буква соответствовала бы «фактической правде» Вико (*certum*), а Дух - «поэтической правде» (*verum*). В феврале 1827 г., читая «Эвтифрона» Платона, он вернулся к своему замыслу. Ему казалось, что этот принцип двух истин был разработан только в праве (Вико) и в религии (Кант). Для истории философии, истории искусства и т. д. не сделано еще ничего.

Мысль эта для французской литературы не была особенно новой. О высшей правде вымысла, о символической истине мифа кое-что было сказано Констаном и Крейцером. Ту же мысль развивал и Кузен в своем фрагменте «О философии истории». Как раз в 1827 г. появился первый том «Опытов социальной палингенезии» Баланша, подробно разработавшего теорию «вымысла-истины» на историческом и мифологическом материале. В марте-апреле 1828 г., готовясь к своему путешествию в Германию, Мишле читает Нибура, интерпретировавшего римские предания на исторической основе. В 1831 г. Мишле полагал, что Монтескье, Вольтер, Крейцер, Ганс и Нибур были последователями Вико: «Если Пифагор вспоминал, что он в прошлой жизни сражался под стенами Трои, то эти знаменитые немцы должны были бы вспомнить, что все они жили когда-то в Вико. Все гиганты критики свободно помещаются в маленьком пандемониуме «Новой науки».

Особенное значение для Мишле имела попытка Нибура воссоздать на основе древних преданий социальную эволюцию Римского государства. Вико утверждал, что римская история является наиболее «идеальной» из всех национальных историй. Нибур, пользуясь его противопоставлением истинного и достоверного, в своих первых томах построил римскую «доисторическую» историю при помощи римских поэтических легенд и утверждал, что эти легенды «представляют собою нечто иное, но вместе с тем и лучшее, чем чистая история».

Историческое значение фольклора для Мишле не подлежало никакому сомнению. В связи с этим в марте 1828 г. возникает замысел «Энциклопедии народных песен», связанной с «Голосами народов» Гердера: эта «Энциклопедия» должна была рассказать составленную по песням историю народов, более правдивую, чем история фактическая.

В статье о Нибуре, напечатанной в «Temps» 15 июня 1830 г., Мишле высказывает сожаление, что немецкий ученый изолировал римскую историю от истории мировой и не изучал римские предания в связи с преданиями других народов и эпох, восточных и средневековых. «У Нибура не было тонкого и глубокого чувства мифических и религиозных эпох», - пишет Мишле. Он упрекает Нибура в том, что тот даже не упомянул имени «бедного Вико, которого Германия пересказывает в продолжение уже полувека, часто даже не называя его».

Мишле хотел дополнить Нибура при помощи Вико, связать идеей викианского циклизма историю Рима с историей других стран и интерпретировать римские легенды фольклором других народов. Таким образом, римский фольклор для Мишле приобретает более широкий смысл и свидетельствует не столько о хозяйственных отношениях местного типа, сколько об этапах общественного развития народов.

Однако теперь Мишле еще больше, чем прежде, расходится с Вико во многих важнейших вопросах. Идея круговращения и идея прогресса, вступившие в логический конфликт в недавно напечатанном «Введении»; теперь осознаны как идеи взаимно противоречивые. Вечное возвращение человечества к первоначальному состоянию кажется Мишле несовместимым с идеей развития, понимаемого в более широком, «мировом» смысле. Круги, описываемые человечеством, постоянно расширяются, идут спиралью, - здесь Мишле повторяет выражение Шатобриана, употребленное им в 1826 г. Вико не понимал этого, и потому, по Мнению Мишле, он так убого и неверно изображает средневековье. Мы видели, что логический хаос, спутавший все карты в тот момент, когда Мишле в своем «Введении» подошел к средним векам, объясняется теми же причинами. Так в социологическую схему Вико Мишле включает понятие эволюции или, пользуясь термином эпохи, «тождества».

Та же «философия тождества» внушила ему идею его знаменитых географических описаний, которых нет ни у Вико, ни у Нибура, ни у представителей «живописной школы» - Тьерри и Баранта. Философия тождества требовала изучения физического и исторического мира в их единстве. То же говорил и Кузен в курсе 1828 г. Он утверждал, что географическая среда соответствует фазе цивилизации, которая в ней развивается, так как выражает ту же «идею». География является параллелью истории, а не фактором ее и не случайной ее декорацией. Следовательно, характеризуя различные географические среды, мы характеризуем и различные фазы в истории человеческого общества. Задумывая еще в 1826 г. «Историческое руководство в географическом порядке», Мишле руководствовался именно этой теорией. Ту же роль играет география и во «Введении», где свобода странствует не столько от народа к народу, сколько от страны к стране, и грандиозные «божественные» и «героические» пейзажи сменяются более «человеческими» и «демократическими». Мишле прямо ссылается на Шеллинга и цитирует его известные слова: «Божественный дух спит в камне, грезит в животном, бодрствует в человеке».

Знаменитая географическая характеристика Италии, данная в начале «Римской истории», в дальнейшем изложении почти не реализована. Мишле не говорит о влиянии климата на быт и нравы жителей, сравнительно мало говорит о его влиянии на производственные процессы и хозяйство, мало использует топографию. Но, характеризуя первых обитателей Италии - пелазгов, он определяет смысл своей географии: «Доисторическим революциям вулканов Этрурии и Лациума, Лемноса, Самофракии и многих других островов Средиземного моря соответствуют в истории народов подобные же катастрофы. Вместе с этим древним миром обвалившихся кратеров и потухших вулканов погребен мир погибших народов, так сказать, ископаемой расы, отдельные кости которой критика откопала и соединила».

Мишле не говорит, что пепел потухших вулканов погреб эти древние нации. Нет, они погибли так же, как погибли вулканы. Изменениям поверхности почвы *соответствуют* изменения этнического состава населения.

Мишле рисует грандиозные пейзажи Сицилии, «где все принимает колоссальные размеры: вулкан, снежная гора в 10000 футов, посрамит Везувий; одно каштановое дерево укроет под свою тенью сто всадников; африканское алоэ достигает шестидесяти футов. И окружающие города соответствовали этому величию». *Соответствовала* - и только. Нет оснований предполагать, что размеры Сиракуз или Агригента имели причиной размеры алоэ или Этны. Мишле только устанавливает соответствия, между внешней природой страны и формами протекавшей исторической жизни. Это, конечно, не только изобразительное средство, но прием косвенной исторической характеристики, объяснение данной эпохи и цивилизации при помощи параллельного географического ряда.

Географическая характеристика южной Италии имела и другой смысл: Мишле хотел переселить своего читателя в древнюю эпоху, настроить его воображение на иной лад. Гигантские пейзажи готовили читателя к необычайным событиям, среди них происходившим, помогали ему проникнуться духом чудовищной древности. На такой подвиг воображения Вико, как человек XVIII столетия, не был способен, и Мишле, несмотря на свое благоговение перед ним, понимает это. Он противопоставляет ему Нибура, который со своим глубоким историческим чувством лучше постиг варварскую римскую древность. В интерпретации этих древнейших эпох Мишле идет по его следам, пытаясь его кое-где исправлять. Он отбрасывает некоторые гипотезы Нибура, считая их недостаточно обоснованными, и особое внимание уделяет этнической основе древнеримской государственности. Он пытается определить роль пелазгов, этрусков, латинян, самнитов и т.д. в сложении римского народа, связывая этими этническими элементами этапы социальной культуры и массовые взаимоотношения древнейшего Рима. Здесь можно констатировать и влияние Огюстена Тьерри, и полемику с ним, как Мишле хотел показать конечное торжество демократического равенства над национальными противоречиями.

Во «Введении» Мишле объяснял победу Рима над Грецией тем, что в Греции было два «града» (Афины и Спарта): «Это значит, что в ней общество было несовершенно. Великий Рим включает в своих стенах оба града, два народа, этрусский и латинский, жреческий и героический, восточный и западный, патрицианский и плебейский; собственность недвижимую и движимую, устойчивость и прогресс, природу и свободу». Эта идея переходит и в «Римскую историю», но принимает здесь более сложные формы. Множество племенных элементов находится у истоков Рима, и в этой темноте предистории Мишле блуждает ощупью, путаясь и не находя дороги. Ставя себе неразрешимые задачи и пренебрегая точностью, он стремится только показать, как из различных этнических элементов, носителей различных фаз культурного развития, возникает единый Рим, истинный град, монархический и «демократический» (за исключением рабства, добавляет Мишле), увенчанный последним религиозным выражением «демократического» принципа, христианством. Здесь все та же идеализация древности, о которой мы говорили выше. И так же, как во «Введении», Мишле объясняет гибель античных городов, а вместе с тем и всего древнего мира пренебрежением к индустрии и рабством.

Отметив, что Нибур, как романтик и «северянин», сумел понять римскую древность, Мишле вместе с тем указал пределы, которые немецкий историк не мог перейти. Периодом расцвета - римского государства Нибур считал первые века его истории, Рим крестьянский и земледельческий. Дальнейшее развитие, завоевательная политика, превращение города в столицу мира, экономические основы нового государства были ему непонятны. Ему кажется, что упадок начался тотчас после того, как Рим перестал быть государством крестьян. Нибур стоит на точке зрения патриархального крестьянства, которая приводит его к весьма реакционным политическим позициям. Вот почему его «Римская история» остановилась на первых двух томах, а третий том, вышедший после смерти автора, обнаружил роковые недостатки его мировоззрения.

Продолжив свое изложение до установления империи, Мишле преодолевал Нибура и в философско-историческом плане вступал с ним в борьбу. Он утверждал новое понимание ранней истории. Вслед за Вико он рассматривает патрициат как первоначальную патриархальную власть, рухнувшую под напором демократии. «Героическая аристократия» сменилась «человеческой демократией», в свою очередь превратившейся в анархию. Тогда настало время монархического режима, утвердившего идею равенства всех под властью одного. Эти «законы» и привлекли внимание Мишле к тому периоду римской истории, который Нибуру казался простым разложением крестьянского города-государства. В этом Мишле видит свой вклад в исторический метод, - специфически французскую ясность мысли и изложения, искусство логически постигать и членить материал. Но стремление уловить логическое единство в многовековой жизни народа приводило его иногда к биологическим аналогиям, которые изредка встречаются и в «Римской истории».

Единство римской истории Мишле обнаруживает в борьбе человека с силами природы, с «необходимостью». В этом и заключался драматизм, который Мишле требовал от исторического произведения. Еще в 1827 г., составляя свой «Очерк новой истории», он ставил своей задачей показать «в широком и простом членении драматическое единство истории последних трех веков». Ту же задачу разрешал он и в «Римской истории».

Нибур не отличался ни легкостью стиля, ни искусством композиции. Читатель должен прилагать усилия, чтобы угадать смысл фразы. Свое повествование он постоянно прерывает рассуждениями, идя в этом отношении против установившихся традиций. Он сам создает это и взывает к терпению читателя: «Древнейшая история Рима не может быть ничем иным, как сочетанием рассказа и исследования».

У Мишле также немало рассуждений, особенно в первых главах, но это несколько не мешает рассказу. Он повествует с самого начала книги, хотя и не скрывает материала, из которого извлечена эта темная история, и метода, превращающего легенду в исторический документ. Первые главы носят характер гипотетический и неопределенный, так как каждый персонаж объясняется, как социальный процесс, ставший живым человеком. Своеобразная поэзия окружает эти истоки великого города: таинственные народы, оставившие после себя только странные учения, несколько имен и множество изящных ваз, никогда не существовавшие цари, непонятные войны и предания, которые объяснить до конца с точки зрения социальной и логической оказывается и для Мишле невозможным. Он ощущает этот первобытный поэтический сумрак и пытается передать смутную атмосферу легенды, которая окружает начала Рима.

Но интереснее всего были главы, трактующие о реальных исторических людях и событиях. Здесь Мишле более самостоятелен и смел. Свидетельства были относительно надежны, а в критике деталей Мишле при столь кратком обзоре не нуждался. В течение веков, оставивших после себя скудные сведения и множество преданий, в массе эпизодов проходит борьба Свободы с Необходимостью. Человек сражается с природой, обрабатывает, покоряет ее. Он осуществляет неясные еще идеи права, улучшает свою звериную жизнь, сперва подчиняясь страху, затем стремясь к идеалам справедливости. Человечество не знает, куда ведут его обстоятельства. Насилием и ложью, руководимое алчностью, попирая справедливость, принося в жертву целые народы, оно движется вперед. На пути римского народа стояли древние итальянские культуры, миллионные народы средиземноморского бассейна, высшая цивилизация Греции. Каждая победа римлян была катастрофой. Этруски, умбры и оски, галлы, иберы, республики на побережье Африки, Великая Греция, Эллада и Македония, Передняя Азия и Британия были раздавлены, разрушены, покорены. Потоки крови заливали весь известный в то время мир для того, чтобы на развалинах древних государств могло утвердиться римское могущество. Наконец, поправа была древняя римская свобода, и Рим оказался во власти трусливого и жестокого Августа, - но эти бесчисленные катастрофы привели к тому, что весь мир объединился в одной великой демократии, осуществлена мало равенство, далеко не совершенное и тяжкое, как бедствие, приведшее к христианству, религии грядущей демократии.

В этом противоречии между страшными путями и благою целью истории, в этом оправдании если не людей, то человечества, и заключается философский смысл и вместе с тем глубоко драматический интерес произведения Мишле. Не раз сравнивал он «Новую науку» с «Божественной комедией», находя в конструкциях Вико грандиозную и мрачную поэзию Данте. Эту поэзию, имеющую своим предметом народы и тысячелетия, Мишле прозрел в педантичном хаосе «Новой науки» и попытался воссоздать в своей «Римской истории».

В созданном Мишле произведении героем является все древнее человечество, представленное в лице немногих великих людей. Мишле следует теории Кузена, бравшегося восстановить всю историю человечества при помощи нескольких великих людей, каждый из которых воплощает в себе целую эпоху или «идею». У Вико эта точка зрения отсутствовала.

В интерпретации народных преданий Вико идет по пути довольно обычного эвгемеризма, угадывая за чудесами легенды реальный исторический факт или историческое лицо. У Мишле субстратом легенды всегда является великий человек.

Великие люди - такие же, как все остальные, так как человечество едино и идентично самому себе, оно может узнать себя во всей своей истории. Герои, кажущиеся нам полубогами, - создание человеческой фантазии, конденсировавшей в один образ работу целой эпохи. И, вкладывая новый смысл в термин Вико, Мишле говорит о «божественности» человечества, отрицая «божественного» человека. Но за этим созданным фантазией полубогом скрывается реальное историческое лицо, великий человек. Он выражает эпоху и цивилизацию не только потому, что он совершил большое историческое дело, но также и потому, что образ его, сохранившись в народном воображении, аккумулировал длительные исторические процессы. В том и в другом случае исторический деятель становится символом. Разгадать этот символический его смысл - значит обнаружить его подлинное значение, вскрыть истину не только поэтическую, но и историческую. «Великим революциям, - высказывает Мишле типично баланшистскую мысль, - предшествуют их пророческие символы». Таким пророческим символом был Карл Великий, воплотивший в себе только еще возникавшее духовное единство феодального и теократического мира, или Бонапарт, воплотивший будущее единение Италии и Франции.

Конечно, в «Римской истории» Мишле не столько разгадывает символы, сколько создает их. Все в его изложении приобретает многозначительность и некий тайный, пророческий смысл. Клеопатра, покорившая Цезаря и Антония, символизирует победу Востока над Западом. Цезарь и Октавиан являют собою образ нового цезаристского начала, торжествующего над демократическим «хаосом». Консулы и трибуны конденсируют к себе грядущие силы и судьбы римского государства. Но именно поэтому их нельзя рассматривать как наиболее совершенный тип современных им людей, как «коллективный портрет» масс. Они единичны, так как выражают не индивидуумы, а идеи. И живописность исторического воплощения не умаляет, а подчеркивает их общий смысл. Герои Мишле живут в двух планах, тесно друг с другом планах, тесно друг с другом связанных, но иногда прямо один другому противопоставленных. В 1866 г., выпуская новое издание «Римской истории», Мишле каялся в своих «цезаристских» грехах. Ему казалось, что сражаюсь с «легендарным фатализмом провиденциальных людей», он все же преувеличил значение Цезаря. Страстный республиканец, он понимал, какие трагические последствия для Франции имела наполеоновская легенда, построенная на культе великих людей. Между тем, только что вышла «История Цезаря» Наполеона III и бесконечно перепечатывалась тоже цезаристская «История консульства и Империи» Тьера. Прямой полемикой с этим культом звучат слова Мишле в предисловии к изданию 1866 г.: «Так называемые боги, гиганты, титаны (всегда почти карлики) кажутся такими большими только потому, что они обманчивым образом взбираются на послушные плечи доброго гиганта, Народа». И Мишле развенчивает Цезаря, видя в нем лгуна, мятежника и тирана...

Конечно, Мишле был жертвой «школьной фразы о так называемом *цезаризме*». Маркс указал на основное отличие современного европейского общества от древнеримского, заключающееся в отсутствии рабства и в наличии пролетариата: «При таком коренном различии между материальными, экономическими условиями античной и современной борьбы классов и политические фигуры, порожденные этой борьбой, не могут иметь между собой больше общего, чем архиепископ Кентерберийский и первосвященник Самуил». Вместе с тем. Маркс указывает на то, что в то время «французская литература оружием исторического исследования, критики, сатиры или остроумия навсегда покончила с наполеоновской легендой». Одним из эпизодов этой борьбы против наполеоновской легенды явилось и только что цитированное предисловие Мишле.

В 1866 г. Мишле особенно раздражали «финал» его книги и, по-видимому, эти знаменитые слова последней части, изумительно выражающие его философию истории и смысл его книги: «Накануне того дня, когда в Александрии должен был погибнуть Антоний, среди ночной тишины раздались звуки тысячи инструментов вместе с неясными голосами, пляской сатиров и криками «Эвоз», словно толпа вакханок, шумно промчавшаяся через город, переходила в лагерь Цезаря. Все решили, что это Вакх, бог Антония, бог Александра и Александрии, навсегда покидает его и сам отдается победителю. Действительно, времена свершились. Необузданный бог античного натурализма, слепой Элевтер, неистовый освободитель, кровавый испугатель древнего мира, его нечистый Христос, вел свой последний хор, совершал свою последнюю оргию. Человечество, очнувшись от опьянения, поднимало голову и, краснея, отбрасывало тирс и венок из цветов. Старый Олимп прожил положенный богам век; он умирал, согласно этрусскому пророчеству и угрозе Эсхилова Прометея». Древних богов должна была сменить религия христианства, религия рабов и демократии, которая восторжествовала вместе с империей как воплощение того же «человеческого» начала. Наученный историческим опытом, переживший обман государственного переворота и «плебисцита», Мишле не мог согласиться с тем, что демократия естественно превращается в хаос, и не мог принять ложной идеи «Демократической империи». Но в 1831 г. именно к этому вел он свое изложение и в этом «законе» пытался найти внутреннее единство своей книги.

Можно ли видеть в этой заключительной фразе прославление Кая Юлия или Октавиана или хотя бы нравственное оправдание их? Мишле, по словам Г.Буасье, раскаивался в том, что сделал Кая Юлия своим кумиром и столько хорошего говорил об Августе и Цезаре. Г.Буасье заблуждается: Мишле в своей книге говорил совсем не то, и не о том сожалел. Нужно помнить, что его герои живут в двух планах, один другому противопоставленных, как «общее» «частному».

Мишле хвалил Цезаря довольно сдержанно, а об Октавиане как личности отзывался весьма плохо. Основная идея его заключается в том, что роль личности в истории не соответствует ее нравственным качествам. Исторический деятель, независимо от нравственной ценности его побуждений, может способствовать развитию человечества или задерживать его. Великие таланты Цезаря не скрывают его дурных сторон. Compliment, который делает ему Мишле, весьма сомнителен и имеет совсем иной смысл, - его симпатичные качества и его пороки характерны для наступающих новых времен. Основатель империи не обязан быть добродетельным - прогрессивен только его исторический труд. Империя уничтожила строй, при котором Рим не мог стать миром, но это не значит, что личность Цезаря достойна восхваления. Октавиан был трус. Он был самым жестоким из жестокого триумvirата, так как не простил никому. Антоний был мужествен и смел, даже благороден в известном смысле слова. И тем не менее Вакх перешел на сторону победителя. Провидение не заботится о нравственных свойствах людей, которых оно употребляет для своих целей, но печется о человечестве, которое оно ведет по заранее намеченным путям. Его вмешательство в человеческие дела становится тем более явным, что падение и возвышение отдельных людей не является наградой или карой за совершенные ими дела.

В «Римской истории» Мишле не преуменьшает роли великих людей, но он рассматривает их как выражение общества, народа, цивилизации или идеи. Инициатива исторического созидания принадлежит не им, а народу, но они выражают народ и потому представляют для истории огромный интерес. Ни в «Римской истории», ни во «Введении» нельзя обнаружить полемику с «фатализмом великих людей» Кузена, но, наоборот, полное приятие и разработку его теории на историческом материале.

Философско-историческая драма, разыгрываемая на страницах «Римской истории», - не только «психомания», но прежде всего столкновение поражающих своей жизненностью людей. Два плана, в которых оживает перед нами история Рима, давно уже стали принципом историографической поэтики Мишле. Еще в «Очерке новой истории» он хотел «изобразить переходные от одной эпохи к другой идеи не отвлеченными фразами, но характерными фактами, которые могли бы захватить юное воображение. Из них следовало отобрать немногие, но наиболее типичные, чтобы они стали символами для остальных, чтобы одни и те же «события для детства были рядом образов, для зрелого человека - цепью идей».

В полной мере это мастерство двупланового изображения осуществлено в «Римской истории». С необычайной яркостью Мишле реставрирует древность, из обломков воссоздавая фигуры, стратеги, характеры, полноту жизни. Его труд - не только философское, но и художественное произведение, каким и должно быть, по мнению Мишле, историческое исследование: в нем показано, как того требовал Кузен, не только общее, но и частное, в людях Воплощены идеи. Недаром с таким увлечением в 1820-е годы Мишле читал Вальтер Скотта, интересуясь преимущественно его «нравами» и «характерами», и еще в 1866 г. говорил о Тьерри, как о единственном великом художнике 20-х годов.

Его Ганнибал, Цезарь и Октавиан, конечно, орудия провидения. Как исторические деятели, они живут в сфере идей, символов, характеризуя этапы человеческой эмансипации и борьбы противоположно направленных сил. Но все это - реальные люди. Они как будто движутся перед нашими глазами, принимая типичные позы, делая присущие им жесты. Ганнибал, по мнению самого Мишле, один из наиболее удачных образов книги, характеризуется только своими делами и жестами, но он живет в произведении напряженной жизнью, читатель видит его перед собой с пугающей отчетливостью. Уже здесь Мишле обнаруживает тот художественный дар, который поставил его в первый ряд историков-«ясновидцев». Таковы способы типизации, основанные у Мишле на сложном базисе философских размышлений, исторических изучений и политических чаяний.

Множество людей толпится в этой небольшой работе, и каждый из них выступает как оригинальное и полноценное художественное создание при минимальной затрате художественных средств. Эти средства почти незаметны. Здесь нет «портретов», которыми изобилуют древние истории. Мишле не подготавливает читателя к встрече с великим человеком, он не делает почти ничего того, что делает обычный историк или романист. Неожиданно появляется перед нашими глазами фигура, которую нам трудно определить, но которая живет непосредственно и ярко, во всей своей живописной конкретности.

Образы не сливаются друг с другом, они чрезвычайно разнообразны. Мишле не любит противопоставлений и контрастов, и тем не менее даже случайный, эпизодический, персонаж представляет собою личность, ничем не похожую на своего соседа, и сохраняет свою индивидуальность до конца.

Мишле свободно пользуется древним приемом «речей». Нисколько не смущаясь, он «дословно» приводит речь Ганнибала, слова Пирра или краткое изречение какого-нибудь римского полководца. Делает он это не потому, что доверяет Полибию или Ливию, но потому, что считает эти слова характерными и живописующими положение или эпоху. Впрочем, в такой доверчивости его никто не упрекал, так как слишком известен был прием чужой речи у древних историков, между тем как аналогичный прием у Тьерри, оперировавшего средневековым материалом, вызывал удивление и негодование.

Есть у Мишле и коллективный портрет, портрет группы, народов и толпы. И это было мастерство новое и трудное, подсказанное Шекспиром и Вальтер Скоттом и предвосхищенное Огюстеном Тьерри. Например, характеристика карфагенских купцов и наемников столь замечательна, что заставляет вспоминать о карфагенских картинах «Саламбо».

Здесь уже возникает тот «чувственный», смелый в лексическом и ритмическом отношении стиль, который позднее расцветет пышным цветом и станет предметом специальных исследований и обсуждений. Здесь он еще не вызывает страданий, которые причинял Анатолю Франсу язык «Истории революции»: Мишле здесь более строг и целомудрен. Но последние фразы его книги заучивались наизусть и декламировались, возбуждая в молодом поколении ту «историческую страсть», какую у Тьерри возбуждал бардит из «Мучеников» Шатобриана.

Действительно, могучая живопись Мишле нисколько не бесстрастна. Все эти национальные и человеческие драмы, все эти люди-символы изображены так, словно они с любовью и болью вырваны из сердца». Мишле не может быть бесстрастным наблюдателем. Он не скрывает своего волнения, повествуя о бесчисленных катастрофах народных и индивидуальных. Говоря войне карфагенян с наемниками, он сочувствует последним, но когда карфагеняне погибают в их последней борьбе с римлянами, Мишле говорит с симпатией об этом народе торговцев и насильников. Нравственный упадок и гибель Греции волнуют его настолько, что он не может об этом подробно рассказывать. В этом отношении он напоминает Тьерри, хотя, в отличие от Тьерри, он считает все эти страдания необходимыми и оправданными конечной целью. Искусство «вживания», искусство исторического перевоплощения здесь, столь велико, что читатель, захваченный повествованием, готов усомниться в том, что это подлинная история, а не роман. В дальнейшем - в «Истории Франции», в естественнонаучных работах - Мишле даст полную волю своему лиризму, и его история превратится в прозопопею, поэтическую публицистику, в которой объективно-историческое содержание сходит на «нет». Поэтому его манеру называют иногда субъективно-лирическим направлением»: определение это имеет под собою некоторое основание, если речь идет о позднем Мишле, к раннему Мишле оно едва ли применимо.

Все умственное развитие Мишле, как и тенденции современной ему науки и литературы, толкали его к методу, который с некоторой приблизительностью можно было бы назвать «символическим». Так определял свой метод и сам Мишле в письме Шарлю Маньену: «Школа живописная (и материалистическая; рант и т. д.) обратила внимание на форму; школа аналитическая (Минье и др.) хотела уловить дух. Переводчику Вико оставалось начать школу символическую, которая пытается, показать рею под прозрачной формой. Антонен де Латур в статье, написанной по указаниям Мишле, утверждает, что Мишле и Кине сочетали метод живописной школы с методом школы философской. Конечно, дело не в сочетании двух разных школ, а в дальнейшем развитии традиций, заложенных в историографических принципах романтизма. Мы видели, что живописного воплощения искали - разными средствами и с различными результатами - представители всех направлений. Мишле стремился не к синтезу противоположных историографических школ, а к сочетанию «бесконечного» и «конечного», общего и частного, к тому историческому знанию, которое особенно энергично проповедовала в то время либеральная эклектическая школа.

Мелкобуржуазный характер мышления, примиренчество» и идеализм не позволили Мишле проникнуть в природу современных ему общественных отношений и понять движущие историей силы. Своеобразно он использовал уроки своих предшественников. У Тьерри он заметил теорию национальностей и, отчасти используя ее, в общем отверг. У Гизо его привлекал синтетизм исторических реконструкций и оптимистическая уверенность в разумности исторического движения. Кузен увлек его к философско-историческим обобщениям, Баланш - в сторону «психомеханики». При могучем демократическом пафосе, сделавшем его в период Июльской монархии передовым общественным деятелем, он постоянно уходил от реальной почвы в область идеалистических построений и утопий. Но великая симпатия к страдающему человечеству, вера в будущую справедливость, желание принять все формы человеческой борьбы, все формы культуры, как этапы вечного движения к свободе и как вечно живую современность, понимание происходящей в истории классовой борьбы, сделали Мишле замечательным историком-живописцем, с необычайной силой заключающим идею в энергично живущий образ и в захватывающие, широкие и динамические картины прошлого.

Из предисловия Б.Реизова к книге

С начала Реставрации, когда разрушены были цензурные заслоны Империи, во Францию проникают произведения первостепенной важности, знакомящие читателей с идеологическими процессами за границей. В книге мадам де Сталь «О Германии» предстает целая эпоха в развитии великой соседней страны. Романы Вальтер Скотта овладевают воображением историков и становятся излюбленным чтением широких кругов. Шекспир и Шиллер служат образцами новым драматургам и вносят в сознание читателей тот историзм, который был так чужд мастерам французского классицизма. Зарубежная философия - «шотландская школа», Кант, немецкая «философия тождества» помогают французским философам разрешать задачи большого общественного значения.

Философский, научный и художественный переворот, совершившийся во Франции в течение 20-х годов, нельзя рассматривать вне международных культурных связей и взаимодействий. Каналы, по которым осуществлялся этот «обмен идей» между различными национальными культурами, очень разнообразны и до сих пор еще недостаточно исследованы. Ставить этот вопрос в полном его объеме, конечно, не входило в наши задачи, но в каждом данном случае приходилось учитывать европейский фон, на котором развивалась французская культура эпохи.

Время второй Реставрации во французской историографии составляет ясно очерченный период. В течение одного десятка лет силами одного поколения создается новая историческая наука и целый ряд ее шедевров.

Начало этого периода мы можем определить довольно точно. Уже с 1818 г. Тьерри начинает свою реформу историографии. В том же году появляется первое философско-историческое произведение Баланша «Опыт об общественных учреждениях», отчетливо выражающее точку зрения новой школы. В 1819 г. Вильмен осуществляет новый исторический метод в своей «Истории Кромвеля». В 1820 г. Гизо начинает свой курс «О представительном правлении», в основу которого легли новые принципы политической философии и исторического исследования. В 1823 г. появляются первые тома «Истории французской революции» Тьера и «Опыты о французской истории» Гизо; в 1824 - «История французской революции» Минье и первые тома «Истории герцогов Бургундских» Баранта; в 1825 - «История завоевания Англии» Тьерри; в 1826 - «История английской революции» Гизо; в 1827 - «Письма о французской истории» Тьерри, «Опыт социальной палингенезии» Баланша, «Новая наука» Вико со статьей Мишле и «Идеи» Гердера со статьей Кине; в 1828 - «летние» курсы Кузена, Вильмена и Гизо. Мы не упоминаем десятков других, более мелких работ.

Естественным пределом, заканчивающим изучаемый период, является 1830 год.

Июльская революция привела к власти крупную буржуазию, во главе которой стояли банки. Идеологи этой достигшей власти буржуазии полагают, что с победой «третьего сословия» классовая борьба закончилась, установлен «идеальный» строй и положен конец общественной несправедливости. Для таких историков история почти заканчивается, и их интерес переходит на другие дела, - организацию в деталях и мелочах утвердившегося строя. Прежние прогрессивные мыслители становятся реакционерами. Таковы Гизо, Тьер, Барант, Тьерри, Кузен, Вильмен и другие. Многие из них готовы отказаться от того, что они говорили еще так недавно.

Крупнейшие историки 20-х годов - Гизо, Тьер, Барант, - целиком отдались государственной деятельности и надолго прекратили литературную работу. Тьерри после нескольких лет молчания переходит к новому жанру - «Рассказам из эпохи Меровингов», - по своему политическому и историографическому значению совсем не похожим на «Письма о французской истории». Баланш после «Видения Гебала» почти совершенно умолкает.

Между тем в республикански настроенных слоях буржуазии растет недовольство результатами революции и утрачивается чувство развития, закономерности исторического процесса. Это вызывает перерождение философско-исторических взглядов и вместе с тем исторической науки.

Наконец, те, кто сохранил веру в действенную силу истории, тоже изменили характер своей исторической работы. Мишле после «Римской истории» предпринимает грандиозную «Историю Франции», все более превращающуюся в «орудие войны». Кине тотчас после июльской революции пересматривает свои старые взгляды и резко меняет характер работы, энергично сражаясь с режимом. Появляется несколько историков, направляющих историческую мысль в иные русла. За эту грань, положенную революцией 1830 г., мы выходили лишь в редких случаях.

Г.В.Плеханов, говоря о Тьерри, вместе с тем характеризовал и романтическую историографию 20-х годов, отметив некоторые весьма существенные черты этой новой методологии: «Огюстен Тьерри принадлежит к замечательной группе тех известных ученых, которые в эпоху Реставрации возобновили во Франции исторические исследования. В этой группе не было ни учителя, ни учеников. Тем не менее она образует настоящую школу, основные концепции которой весьма полезно рассмотреть».

Действительно, эта школа не имела учителя. Она выросла из всей массы буржуазно-либеральных идей, возбужденных Французской революцией 1789-1794 гг. и получивших в период Реставрации новый смысл и новую общественную действенность. Руководимые различными политическими интересами, преследуя различные научные цели, эти буржуазные ученые создали школу, одушевленную общим историческим методом и общей им всем в этот период политической позицией. Впрочем, в этом единстве метода, так же как в политических взглядах отдельных ученых, были различия, ясно обнаружившиеся после 1830 г.

Рассматривая переворот в исторической науке, совершившийся в 20-е годы, с точки зрения формальной и «метафизической», не вдаваясь в кропотливый анализ «подтекста», не восстанавливая в каждом данном случае подлинного смысла заявлений и лозунгов, можно было бы пройти мимо самого важного: не заметить самого переворота. С первого взгляда могло бы показаться, что нет никакой принципиальной разницы между историографией Просвещения и романтизма, и что все основные идеи романтической историографии циркулировали еще в XVIII столетии. Именно к таким выводам можно было бы прийти на основании формалистической работы Анри Тронсона об исторической науке и философии истории в эпоху романтизма. Мы считали важным изучать не столько общее сходство, сколько принципиальное различие между представителями разных эпох и школ. Романтическую историографию мы рассматривали в процессе ее становления, в ее борьбе с «классической» и «просветительской» историографией за новое историческое мировоззрение, соответствующее новым общественным задачам.

Излагая материал, мы старались придерживаться исторической последовательности в развитии историографических идей. Первая книга Тьерри вышла на год позже первых томов Баранта, но статьи Тьерри подготовили «Историю герцогов Бургундских» и формулировали основные задачи романтической реформы, «Опыты о французской истории» Гизо появились, за год до книги Баранта и за два года до книги Тьерри, однако историографическая система, связанная с именем Гизо, была осуществлена им с наибольшей энергией в лекциях 1828-1829 гг. Первые тома «Истории французской революции» Тьера вышли раньше, чем книги Тьерри и Баранта, но наибольшее влияние оказали последующие ее тома, которые и вызвали ожесточенные споры.